



Золотая серия поэзии

Омар Хайям

Сад любви



Москва
2017

УДК 821.222.1-1
ББК 84(0)9-5
О-57

Перевод с персидского

Разработка серии А. Новикова

Оформление серии художника Е. Ененко

В оформлении обложки использована иллюстрация
к книге Омара Хайяма «Рубайат» 1913 г.
художника Рене Булла (1872—1942)

Омар Хайям.

О-57 Сад любви / Омар Хайям ; [пер. с персид.]. —
Москва : Издательство «Э», 2017. — 320 с. — (Золотая серия поэзии).

ISBN 978-5-699-60767-9

В поэтический сборник «Сад любви» включены бессмертные четверостишия Омара Хайяма, классика персидской поэзии, великого философа, астронома и математика. В это издание вошли лучшие русскоязычные переводы О. Хайяма.

УДК 821.222.1-1
ББК 84(0)9-5

- © Г. Плисецкий, перевод на русский язык.
Наследники, 2017
- © О. Румер, перевод на русский язык.
Наследники, 2017
- © С. Липкин, перевод на русский язык.
Наследники, 2017
- © М. Ватагин, перевод на русский язык, 2017
- © Г. Семенов, перевод на русский язык.
Наследники, 2017
- © В. Зайцев, перевод на русский язык, 2017
- © Д. Седых, перевод на русский язык.
Наследники, 2017
- © М. Синельников, перевод на русский язык, 2017
- © Н. Орлова, перевод на русский язык, 2017
- © А. Кушнер, перевод, на русский язык, 2017
- © А. Щербаков, перевод на русский язык.
Наследники, 2017
- © Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Э», 2017

ISBN 978-5-699-60767-9



Боже, ты знаешь, что я познал Тебя по мере моей возможности. Прости меня, мое знание Тебя — это мой путь к Тебе.

*По легенде, последние слова
Омара Хайяма.*

Есть проникновенное стихотворение русского поэта-эмигранта Георгия Иванова, столь же замечательное, сколь несправедливое:

Восточные поэты пели
Хвалу цветам и именам,
Догадываясь еле-еле
О том, что недоступно нам.

Но эта смутная догадка,
Полумечта, полухвала,
Вся разукрашенная сладко,
Тем ядовитее была.

Сияла ночь Омар Хайяму,
Свистал персидский соловей,
И розы заплетали яму,
Могильных полную червей.

Быть может, высшая надменность:
То развлекаться, то скучать,

Сквозь пальцы видеть современность,
О самом главном — промолчать.

Весьма спорной остается истина этих упреков, обращенная ко всем «восточным поэтам». Быть может, невзначай, «только ради рифмы», а то — в силу наибольшей среди «персидских соловьев» известности, попал сюда Омар Хайям. Но, во всяком случае, трудно в мировой поэзии назвать другого автора, столь далекого от беззаботного украшательства, от декорирования могильной ямы розами. Поэта совсем иного устроения, с характером, совершенно противоположным изображаемому Г.Ивановым. Мудреца, всегда говорившего о самом главном.

Иного, между прочим, не позволили бы и резко очерченные границы персидского четверостишия — рубаи, мудрая «экономия» избранного жанра, в котором Хайям был величайшим из мастеров. Здесь требовалась предельная емкость, многослойность и тяжесть каждого слова. Точность и значительность деталей и неслучайность каждой детали в стихийном сцеплении.

Ускользящий обрывок времени, клочок пространства; все те же лица и предметы в их непосредственном споре: Творец и тварь; ханжа и пьяница; святоша и блудница; «влюбленные, забывшие о завтрашнем дне; гончар, склонившийся над кувшином, который некогда был шахом... Мечеть и кабак; весенний луг и руины дворца; чаша с вином и осыпающаяся роза. Воспоминания и поиски забвения; любовь и одиночество... Каждое четверостишие — мир замкнутый, неповторимый, самоценный и равный всему мирозданию. Каждое — живой организм и мыслящий

космос. В четырех строчках сказано немало, но за ними стоит еще многое. А в конце-то концов немногими словами все сказано обо всем, обо всей вселенной. Никто не знает, в каком порядке возникали эти четверостишия, но, пожалуй, каждое звучит, как последнее. Недаром, процитировав строки одного из них, Марк Твен заметил, что они «содержат в себе самую значительную и великую мысль, когда-либо выраженную на таком малом пространстве, в столь немногих словах». Но у Хайяма много великих стихотворений, трудно предпочесть какое-либо...

Гийас ад-Дин Абу-Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям был знаменит как астроном, астролог, богослов, врач и математик (задолго до Ньютона выведший формулу его бинома, — что-то булгаковское есть в этой ситуации). Приходится, однако, принять к сведению то обстоятельство, что этот высокочтимый ученый и литератор в отечестве своем не был в достаточной мере оценен и признан как поэт. Не был включен в официальный канон «классиков». Не только потому, что у людей богобоязненных слыли «вольнодумными» бродячие четверостишия, по легенде, небрежно писавшие на полях математических трактатов (странное сходство с Ф.И. Тютчевым, «в заседании» набрасывавшем свои небольшие и гениальные экспромты на служебных бумагах и забывавшем их).

Нет, Хайяма не слишком высоко ставили прежде всего потому, что в сознании века не могли такие вот стихотвореньица сравниться с большими и великолепными в своем метафорическом изобилии касыдами и газелями, с панегириками и облеченными в стихотворную форму проповедями, с диванами и даста-

нами. Конечно, и в этом была своя правда, или, скажем, часть правды. Ведь поэзия, созданная на языке фарси, необъятна и непомерно велика. Были в ней Рудаки, Фирдоуси, Санай, Хакани, Низами, Руми, Саади, Хафиз, Джамии, Бедиль... И кто еще там в этом ряду?! Одно перечисление этих гигантских имен доставляет наслаждение. Ведь каждое из них — это цветущий сад и бездонное море!

Четверостишия Хайяма жили в тени, а все же не затерялись, ибо все приходит в срок. Но долг был путь поэта XI столетия к мировой славе, к его неганданым европейским читателям. Долг был и путь «возвращения» на родину в новом блеске, с новой мощью.

Такой всеобъемлющей, всеобщей известности не знают другие великие поэты, писавшие на фарси. Может быть, только Хафиз, и то — сомнительно. Полускрыты наплывами тумана, чуть брезжут «в дыму столетий» глыбы больших творений, а четверостишия Хайяма — на устах у всех, кому нужна поэзия. Такая вот удача... Нет в этом укора кому-либо, ибо есть судьба Гомера и есть судьба Катулла. Оба для нас велики, хотя и по-разному.

В чем же разгадка этой судьбы? Национальная, мировая слава поэта (сколь счастливей живописец, ваятель, композитор!) всегда связана с проблемой перевода... Это ужасно, но за пределами восприятия иноплеменных читателей — все языковое богатство поэта, вся сила слов, вся стиховая мощь... Что же осталось, какая энергия обеспечила непрерывность девятисотлетнего «перелета» в будущее?

Быть может, здесь уместны строки Евгения Бора-

тынского, создателя великих русских стихов, небольших по объему:

Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! Тебе забвенья нет;
Все тут, да тут, и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.

«Острым лучом» рассекла поэзия Омара Хайяма, его мятежная дула — толщу столетий. Приход этой творческой воли в христианский мир Запада совпал с новой фазой развития европейской поэзии. Лирика Хайяма была созвучна этому нахлынувшему скепсису, гедонизму, низвержению кумиров и поискам в мире безверия нравственной опоры. Этому бунту против Творца, этой изощренной утонченности, этой жажде откровений с Востока...

Заметим, что сказанное новооткрытым восточным поэтом было заключено в наиболее «выигрышную», «компактную», наиболее доступную тогдашнему европейскому восприятию форму... Ведь нужно иметь в виду, что классические «твердые формы» персидско-таджикской поэзии (и газель, и касыда, и рубаи, представляющие собой, в сущности, каждая — одну, единую строфу) суть прежде всего — «единицы» поэтического мышления. Такими единицами на Западе являются, например, сонет, рондо, баллада и, наиболее распространенная, — простое четверости-

шие... Вот в этой еще точке совпали вдруг западный и восточный ход мысли.

В одном из сочинений Мережковского есть ослепительная, чрезвычайно важная мысль. Положим, не новая, но глубоко выношенная, прочувствованная всей душой. Наш выдающийся критик так умел писать даже просветительские брошюры, что, делая выписку, трудно остановиться: «В органическом, непроизвольном процессе творчества гений, помимо воли, *помимо сознания*, неожиданно для самого себя, приходит иногда к таким комбинациям чувств, образов и идей, глубину и значительность которых дано оценить только отдаленным поколениям читателей. В этом смысле поэт носит в своей груди не только прошлое, но и неизвестное будущее всего человечества. Весьма вероятно, что через несколько столетий другие поколения читателей найдут в Эсхиловом Прометее новое, еще недоступное нам, философское содержание, и они будут правы со своей точки зрения.

Бессмертные образы мировой поэзии служат для человечества как бы просветами, громадными окнами в бесконечное звездное небо: каждое поколение подходит к ним и, вглядываясь в таинственный сумрак, открывает новые миры, новые отдаленнейшие созвездия, незамеченные прежде, — зародыши неиспытанных ощущений, неосознанных идей; эти звезды и раньше таились в глубине произведения, но только теперь они сделались доступными глазам людей и засияли вечным светом. Как бы ни были усовершенствованы способы исследования — анализ, критика, вкус, — всей глубины звездного неба исчерпать не-

возможно: будущее поколение снова подойдет к просвету и откроет в гениальном произведении новые миры, новые созвездия...»

Европейскими переводами в стихах Хайяма были указаны новые «созвездия», новые мысли, всей суммы которых автор никак не мог предвидеть. Одно было попросту прочитано в свой час, другое как бы извлечено из недр, третье — привнесено... Очевидно, эта «отсебятина» при переводе неизбежна. Наверное, она и не совсем бесплодна. Конечно, в том единственном случае, когда переводчиком поэта является поэт, пусть даже немного меньший. Не зря Мандельштам назвал поэта-переводчика «могучим истолкователем автора».

Первым открыли Омара Хайяма англосаксонские страны... Вспоминаются читанные в детстве «Морской волк» Джека Лондона (в спорах героев романа немаловажное место занимают стихи Омара Хайяма), юмористический рассказ О'Генри, в котором героиня ревнует поклонника, увлеченного «мисс Рубайат»... Широко известна история книги «Рубайат Омара Хайяма», в 1859 году вышедшей в Англии в переводе Эдварда Фицджеральда. Феноменальный успех этого сборника вольных переводов и подражаний, сразу ставшего для англичан книгой насущно необходимой, а затем завоевавшего весь мир, проложил дорогу бесчисленным переизданиям и переводам на национальные языки.

Есть простое и верное замечание Николая Заболоцкого: «Успех перевода не может быть столь долговечен, как успех оригинала». В деле поэтического переложения прославленных рубай, в деле создания

«русского Хайяма» были свои важные вехи. В составленный нами сборник вошли в хронологическом порядке работы переводчиков разных эпох, все то, что показалось нам лучшим. Сам Хайям пришел к новому своему читателю, обремененный ношей стихов, «условно» ему принадлежащих и явно приписываемых. В России его переводили десятки поэтов, тем не менее не все четверостишия нашли сколько-нибудь сносное русское воплощение. Очевидно, это и невозможно. В отборе не может быть обязательной пропорции, ложной симметрии, иерархии. Пусть один переводчик будет представлен одним переводом, другой — сотнями; пусть иные стихотворения будут в разных переводах. Это — свободное, честное (и не законченное) соревнование.

Поколениями переводчиков сделано немало. Следует отметить серьезные основательные переложения Л. Некоры, фундаментальный вклад О. Румера, назвать имена С. Липкина, В. Державина...

Особо хочется сказать о высокохудожественных переводах поэта Ивана Тхоржевского, создавшего поистине неувядающий труд, — первый сборник стихов Омара Хайяма на русском языке. Если какая-то доля «осовременивания», какая-то степень «личностного участия» поэта-переводчика предопределены, то признаем, что на крыльях своего пятистопного ямба Тхоржевский «привнес» в переводную работу отнюдь не самое худшее: страшную силу собственного неверия и... глубину веры. Культуру символизма, звук и дыхание русской поэзии Серебряного века... Влияние европейской послебодлеровской лирики, веяние стихов Анненского, Сологуба... Чудится даже

влияние определенной живописи. Может быть, палестинских работ Поленова:

Весна. Желанья блещут новизной.
Сквозит аллея нежной белизной.
Цветут деревья — чудо Моисея,
И сладко дышит Иисус весной.

Характер поэта выражен уже в расстановке знаков препинания. (Существенно, что персидская поэтика требует смысловой цельности строки, не любит разрывов, сдвигов, переносов. Здесь от этого правила есть легкие отступления, не такие, как у неумелых переводчиков, не в ущерб поэзии и движению стиха.) Тхоржевский не старается сохранить восточную транскрипцию библейских имен, зато в данном контексте они звучат естественно. Очевидно, на единообразии транскрипции во всех переводах, даже если по-разному пишется имя самого Хайяма, не стоит настаивать, ведь имена входят в звуковой и зрительный образы.) В его переводах стихов Хайяма, связанных с Библией, есть нечто от «Нежности ветхозаветной», говоря словами давней поэтессы. Я бы сказал, что переводы эти, востоковедами не единожды обруганные за «вольность», выполнены непринужденно и целомудренно...

И, естественно, в этих переводах, давление которых сказалось на развитии новой русской поэзии, много личной судьбы, судьбы России... Это недоказуемо, но это чувствуется:

О, если бы крылатый Ангел мог,
Пока не поздно, не исполнен срок,
Жестокий свиток вырвать, переправить
Иль зачеркнуть угрозу вещей строк!

Или другое четверостишие:

Ловушки, ямы на моем пути —
Их Бог расставил и велел идти,
И все предвидел. И меня оставил.
И судит! Тот, кто не хотел спасти!

...Важным этапом в поэтическом переложении и осмыслении наследия Хайяма следует назвать большую работу нашего современника Германа Плисецкого. В звучании его четырехстопного анапеста впервые возникла зыбкая, колеблющаяся, но уже неразрывная связь с неуловимым звуком персидского стиха. С необыкновенным упорством, с творческим упрямством Плисецкий во всех случаях «вытянул» стих, сохранил верность единственному избранному размеру. Часто пренебрегая буквальной точностью, жертвуя подчас многим, переводчик сделал упор на резкой, рубленой афористичности Хайяма и передал ее твердо и уверенно. Конечно, поэзия, которая вовлекает в свою ткань афоризмы, не должна ими исчерпываться. Вероятно, к отдельным четверостишиям Хайяма в переводе Плисецкого могут быть предъявлены претензии. И тем не менее работа Плисецкого стала в своей области новым словом. В этих переводах много темперамента, сжатой страсти:

Дай вина! Здесь не место пустым словесам.
Попелуи любимой — мой хлеб и бальзам.
Губы пылкой возлюбленной — винного цвета,
Буйство страсти подобно ее волосам.

Что мы знаем о Хайяме, кроме краткой «биографической справки»? Иной раз остряки-эрудиты процитируют тот или иной перевод Румера или Держа-

вина, приглашая к попойке... А мы не знаем даже, пил ли он вино... Или то был некий духовный «напиток», заключающий в себе все сущее. Не об этом ли — рубаи, своеобразно переведенные Т.Лебединским:

То вино, что по сути способно принять
разных видимых форм очертанья,
Что способно животным, растением стать,
изменять даже форм очертанья, —
Не исчезнет и будет все то же вино,
Так как вечную сущность имеет оно.

Для того чтобы объять массу поэтической «информации», этому переводчику понадобилась форма, несколько напоминающая «Столбцы» Заболоцкого...

Как бы то ни было, именно духовность поэзии Омара Хайяма навеки слилась с духом русской поэзии. Эта высокая духовность будет вечно жить в непрекращающемся переплетении культур... И Егише Чаренц, создавая свои «Рубаи», конечно, думал о Хайяме. Тень грандиозного здания иранской культуры, изливающего потоки света на все четыре стороны, эта легкая тень легла на Закавказье... И, несомненно, не только о вине, заполняющем чашу, но и о «духовном вине» говорится в стихотворении грузинки Анны Каландадзе, которое знаю в прекрасном переводе Арсения Тарковского:

На грудь твою, Хайям, струится ток багряный,
И пьяный ветер гнет и треплет дерева,
Их корни пьют вино, и сыплются на раны
Сердечные твои — соцветья и листва.

И розе не до сна. Когда она почтила
Созвучья, бережно хранимые людьми,